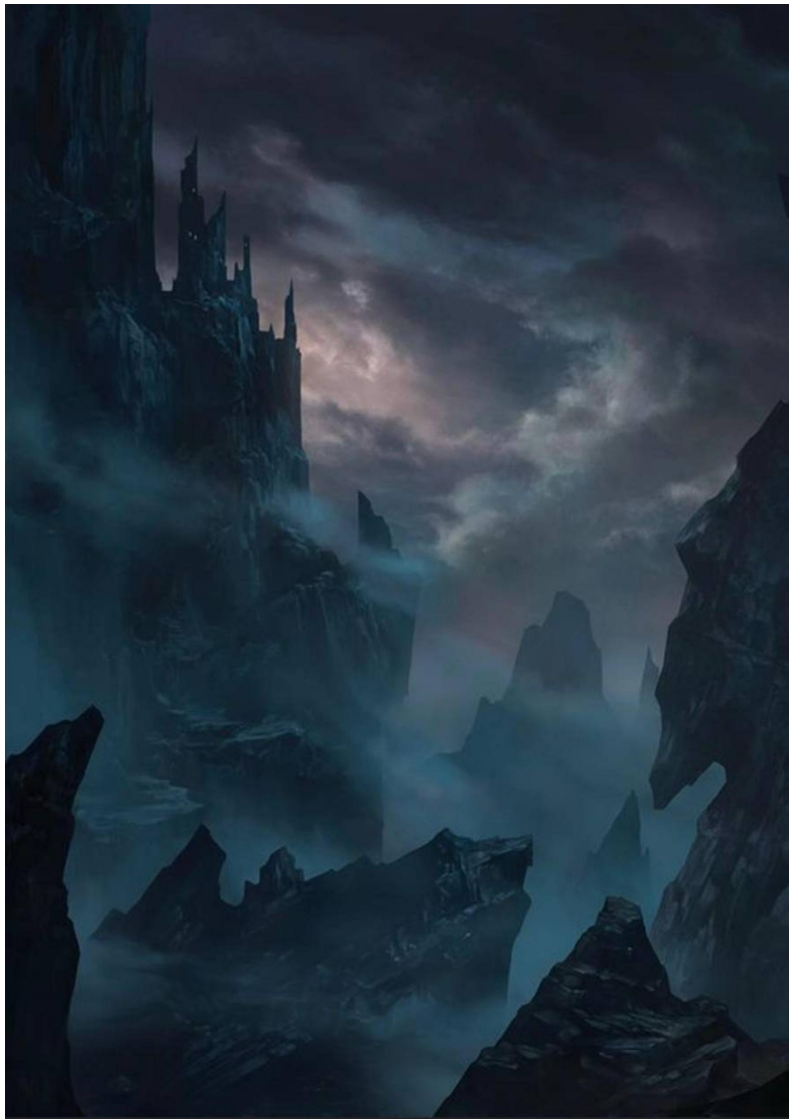




Андрей Ратиборо

Инвентарный номер: Время

<https://litres.ru/74626062>

SelfPub; 2026

Аннотация

Обычный дождливый Петербург 2026 года. Скромный архивист третьей категории ежедневно перебирает ветхие документы в старом министерском здании на Васильевском острове. Его жизнь подчинена строгому расписанию лазурных автобусов и спасительной бытовой мантре: «я вернусь к ужину». Но рутина рушится, когда в ледяном межстенном зазоре за стеллажом 12 он находит невозможную папку — личное дело сотрудника с его собственным лицом, оформленное за тринадцать лет до его рождения.

Вместе с находкой под кожу героя проникает осязаемый запах тлена и чужое, древнее сознание. Привычный мир начинает двоиться, как отражение дворцов в черной Неве. Из подземной бездны на улицы города прорывается первородное зло, стремящееся повернуть стрелки часов вспять и погрузить человечество в вечное ментальное рабство. Когда архив превращается в эпицентр полтергейста, а древние сущности начинают собирать свою кровавую жатву, единственным щитом против хаоса становится канцелярский реестр.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Инвентарный номер: Время

Глава

I

Запах. Вот с чего всё начинается — не с мысли, не с решения, не с будильника. С запаха бумаги, которая старше тебя, старше твоих родителей. Она помнит прикосновения людей, чьи имена давно стёрты с обложек дел, словно дождь — надписи с кладбищенских надгробий. В Петербурге бумага не стареет — она гниёт. Сырость просачивается сквозь кирпич и штукатурку, преодолевает слои масляной краски и обои, которые переклеивали пять раз за последнее столетие. Она не щадит ничего: забирается в папки, в скоросшиватели, под картонные обложки с грифом «Хранить постоянно». Листы превращаются в мягкие, податливые полотна, рассыпающиеся между пальцами, как прах. И пахнут они уже не бумагой. Временем. Тленом. Чем-то древним и безымянным, чему никто не дал чёткого определения. Наверное, потому, что «определение» — слово латинское, а некоторые вещи на чужие языки не переводятся. Это моя стартовая точка. Запах старых фондов в сырых комнатах на Васильевском острове. Здание построили в тысяча девятьсот четвёр-

том году: сначала здесь располагалось министерское учреждение, потом совнархоз, позже — НИИ, а теперь — ничего. Просто стены, по которым трещины бегут, как вены на руках старика, трубы да крыша. На третьем этаже — архив. Наш. Мой. Я здесь «работаю» — если можно так выразиться. Прихожу пять дней в неделю, сижу за столом, перебираю дела и составляю описи. Моя задача — присвоить каждой папке номер и внести её в документ. Должность звучит скромно: архивист третьей категории. Третья категория — значит, неважный. Не первая, не вторая. Третья — как мир, как сорт, как последнее предупреждение. Но я не жалуясь. За окном сентябрь. Третий день девятого месяца две тысячи двадцать шестого года. Петербург осенью — не город, а состояние души: мокрое, серое, безразличное. Небо висит так низко, что кажется — встань на цыпочки и достанешь рукой. В кессонных окнах двора-колодца темнеет уже к четырём часам, а к пяти наступает ночь. Не деревенская, со звёздами и луной, а душная городская: мокрый асфальт, дрожащие в лужах фонари и чайки, оружие так, будто их режут. Чайки на Васильевском — отдельная история. Они как крысы: наглые, бессмысленные, вечные. Сидят на карнизах, козырьках подъездов и пожарных лестницах, уставившись в пространство. Они смотрят не на людей, а сквозь них. Будто видят то, чего мы не замечаем, или знают то, о чём мы не догадываемся. Дождь мерно стучит по жестяному отливу. Стук. Стук. Стук. Монотонный ритм, похожий на пульс спящего

или тиканье часов в пустой комнате. Он начинается утром и не прекращается. Может, этот дождь идёт с самого тысяча девятьсот четвёртого года, с момента закладки фундамента, и просто не умеет останавливаться. Какое-то механическое упрямство природы. Передо мной на столе лежит дело № 4471-А. Опись за третий квартал семьдесят третьего года. Акты списания. И ладно бы чего-то важного, но нет — щётки, метел, ведер. Советский научно-исследовательский институт списывал оцинкованную тару, и это целая вежа. Каждый веник проходил путь длиннее человеческой жизни: заявка, наряд, накладная, акт приёма, акт списания, акт утилизации. Четыре документа и четыре подписи на одно ведро. Людей, оставивших эти автографы, скорее всего, давно нет в живых, а их росчерки чернил обитают здесь, в сырости и запахе тлена. Они оказались долговечнее своих создателей. Я заношу данные в журнал. Номер дела: 4471-А. Заголовок: «Акты списания инвентаря, III квартал 1973 г.». Количество листов: сто двенадцать. Состояние: удовлетворительное. Характер повреждений: влажностное поражение, плесневелый налёт, фрагментарная утрата текста. Пишу, и губы сами растягиваются в улыбке. «Влажностное поражение» — звучит так, будто сырость — это регулярная армия, которая наступает на архивы, прорывает фронт и берёт в плен папки, а плесень — её партизаны. Тихие, зелёные, неспешные. Они работают без выходных и обеденных перерывов. Плесень никогда не спит. Наверное, стоит объяснить, зачем я здесь си-

жу, описываю чужие вёдра и дышу этой пылью. Ответ простой, как протокольный запрос: так устроена жизнь. Кто-то убирает улицы, кто-то плавит сталь, а кто-то каталогизирует бумаги, которые никто никогда не прочтёт. Мы все в каком-то смысле архивисты. Только одни описывают документы, а другие — собственные дни. И те, и другие в итоге превращаются в дела с пометкой «удовлетворительное». Впрочем, это лишь профессиональный юмор. В архиве третьей категории без него нельзя — иначе сойдёшь с ума от монотонности. Или от этого запаха.

II

В тот день — третьего сентября — я его и нашёл. Дело лежало на нижней полке двенадцатого стеллажа, в ряду «В». Тёмно-зелёная обложка выцвела до состояния грязного мха. На корешке не было ни номера, ни года, ни названия — просто папка с листами неизвестного объема. Я ещё не догадывался, что она изменит всё. Но давайте по порядку. Двенадцатый стеллаж — последний в ряду. Он стоит в самом углу, где внутренняя перегородка сходится с внешней стеной. Между ними есть зазор. Промежуток такой ширины, что если просунуть ладонь, чувствуешь холод. Не сквозняк, а именно холод — стационарный, вечный. Он стоит в этой пустоте, как вода в заброшенном колодце: неподвижно и плотно. Однажды от тоски и безделья я принёс из дома комнатный термометр и опустил его в щель. В архиве было восемнадцать градусов. В зазоре — одиннадцать. Разница в

семь градусов на дистанции пятнадцати сантиметров. Я сообщил об этом завхозу, Тамаре Сергеевне, проработавшей здесь тридцать один год. Она посмотрела на меня так, будто я принёс весть о кончине её родственника, и хмуро бросила: «Продувает. Надо законопатить». Разумеется, никто ничего не сделал. Прошёл год. Холод и зазор остались на месте, а Тамара Сергеевна уволилась. Не из-за аномалии, конечно, а по выслуге лет, но мне приятнее думать, что она сбежала от этой стены. Я полез за очередным скучным делом и задел стеллаж плечом. Конструкция качнулась всего на пару сантиметров, но этого хватило: с самой верхней полки, куда я никогда не заглядывал, скользнула и рухнула вниз папка. Она упала плашмя. Звук удара получился странным — глухим, неоправданно тяжёлым для обычной бумаги. Будто внутри находилось что-то плотное, имеющее вес. Не массу, а именно вес. Масса — это килограммы и физика, её измеряют приборами. Вес — это то, что давит на руки и на душу. То, чему нет названия. Я поднял находку. Простые матерчатые завязки, когда-то зелёные, а теперь серые, как кожа покойника, поддались без труда — нить давно истлела. Я перевернул обложку. На первом листе виднелась машинопись. Шрифт — «Родина» или «Москва», точнее не определить: лента старая, литеры заваливались влево, а валик бил неровно, отчего удары выходили блеклыми. Текст гласил: Наименование учреждения: НИИ-217. Отдел: не указан. Тип документа: личное дело. Фамилия, имя, отчество: Корнеев Ар-

темий Павлович. Год рождения: 1989. Место рождения: г. Ленинград. Образование: не указано. Я перечитал строчки несколько раз. Артемий Павлович Корнеев. Тысяча девятьсот восемьдесят девятый год рождения. Место рождения — Ленинград. Личное дело сотрудника НИИ-217. Всё бы ничего, но НИИ-217 — это наш институт. Тот самый, от которого остался лишь этот сырой архив. И его ликвидировали в восемьдесят первом — за восемь лет до того, как Артемий Корнеев вообще появился на свет. Перед глазами лежало личное дело человека, оформленного в организацию, которая прекратила существование до его рождения. Я захлопнул папку и тут же открыл снова. Буквы не исчезли. Всё те же завалы влево, тусклые чернила и неровные пробелы. Абсурд, отпечатанный на бумаге, которая пахла тленом и чем-то неуловимо знакомым. Так узнают запах дома, в котором не бывали с глубокого детства. Запах. Опять этот запах. Он вёл меня, как нить Ариадны, — только в обратную сторону. Не вон из лабиринта, а в самую его глубь.

III

Мне следовало остановиться. Любой нормальный человек так и поступил бы. Положил бы папку на место, задвинул стеллаж, вернулся за стол и спокойно дописал опись: «Акты списания инвентаря, III квартал 1973 г., сто двенадцать листов, влажностное поражение». А после работы пошёл бы домой по мокрому асфальту мимо чаек и тусклых фонарей. Купил бы бутылку кваса у ларька на углу Средне-

го проспекта и Восьмой линии, присел бы в сквере и просто наблюдал за прохожими. Затем — автобус, горячий чай, диван и телевизор. Нормальная, понятная жизнь. Но я не остановился. Я перевернул второй лист, затем третий, четвёртый. Папка оказалась толстой — листов двести, если не больше. Бумага внутри была разнородной: машинописные страницы чередовались с рукописными вставками и бледными ксерокопиями. Ржавые скрепки оставили на листах глубокие отметины, похожие на клеймо на бычьей шкуре. Часть страниц кто-то безжалостно вырвал — из корешка торчали обрывки волокон, напоминая волосы, застрявшие в расчёске. Личное дело, табель, характеристика, заявления, приказы. Стандартный канцелярский набор сотрудника советского НИИ. Бюрократический балласт, нужный лишь кадровику при оформлении да архивисту при списании. Документы для полки. Для отчётности. Для запаха. Но вся эта нормальность рушилась из-за одной детали — даты. Приказ о зачислении на работу был датирован двадцать третьим августа тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Получалось, что Артемий Павлович Корнеев, родившийся в тысяча девятьсот восемьдесят девятом, занял должность лаборанта НИИ-217 за тринадцать лет до своего появления на свет. Я опустил папку на стол. Пальцы мелко, едва заметно задрожали — как у человека, который перебрал с кофе или внезапно узнал то, чего знать категорически не следовало. Вокруг сгустилась тишина. Та особенная, гнетущая тишина опустевших

зданий, которая ощущается не как отсутствие звуков, а как присутствие чужого присутствия. Скрип половицы в пустом коридоре, шорох бумаги, которую никто не трогал, приглушённое дыхание за глухой стеной. Нет. Об этом лучше не думать. Я заставил себя вернуться к тексту. Характеристика была написана по безликому советскому шаблону: «Товарищ Корнеев А. П. зарекомендовал себя дисциплинированным работником, к выполнению поручений относится добросовестно, активно интересуется общественной жизнью коллектива». Канцелярское тавро. Внизу красовался неразборчивый росчерк чернил, фамилию и инициалы автора разобрать не удалось, читалась только должность: «начальник отдела». Дата — пятнадцатое сентября семьдесят шестого. Год, когда Корнееву было минус тринадцать лет. Я откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Старая побелка давно пожелтела, покрывшись подтёками и пузырями отслоившейся краски, которые висели над головой, словно готовые лопнуть нарывы. Один из них, самый крупный, находился прямо надо мной. Я не обращал на него внимания месяцами, но сейчас приковал к нему взгляд. Пузырь казался больше, чем обычно. Или мне просто показалось. Конечно, показалось.

IV

Дальше. Я перелистывал страницы, и с каждым движением дело становилось не страшнее, а страннее. Страх — понятное чувство, когда знаешь, чего именно боишься. Оцепенение перед неведомым — совсем другое. Это состояние,

в котором застываешь посреди комнаты, не в силах вспомнить, зачем поднялся с места. Сорок первый лист. Служебная записка. Снова машинопись, но уже на другой машинке: шрифт чёткий, лента свежая, литеры выстроены идеально ровно. Касательно инцидента в лаборатории № 3. В связи с происшествием, имевшим место 17.09.76, сообщаю следующее: в 14:30 сотрудник Корнеев А. П. был обнаружен в помещении лаборатории № 3 в состоянии, которое дежурный техник Орехов В. С. охарактеризовал как «неестественное». Корнеев сидел в углу, лицом к стене, и не реагировал на обращения. При попытке прикоснуться к плечу Корнеева техник Орехов получил... На этом текст обрывался. Страницу безжалостно выдрали, оставив рваный, неровный край. Так избавляются от листов в дневнике, когда написанное кажется слишком личным или пугающим. Я держал обрывок в руках. Бумага казалась теплой. И грели её не мои пальцы: страница словно сама генерировала слабое тепло, будто отпечатанные слова были частью чего-то живого. Разумеется, это невозможно. Бумага — всего лишь мёртвая целлюлоза. Камень нагревается солнцем, металл хранит тепло ладоней. Но этот лист лежал на темной полке в угловом зазоре, куда не проникали ни свет, ни воздух. И всё же он оставался тёплым. Я опустил его на стол. Бумага остыла буквально за пару минут, хотя следить за временем в архиве — гиблое дело. Здесь оно течет по собственным законам: час пролетает как десять минут, а серый монотонный день растягивается в веч-

ность. Среди пыли, оседающей на папки подобно первому снегу, время замедляется. Или поворачивает вспять. Вспять — вот точное слово. К тому же лист сорок первый скрывал еще одну странность. Он весил больше положенного. Обычная машинописная страница тянет едва на пять граммов, но эта ощущалась плотной, массивной, будто целлюлозные волокна впитали в себя густой холод из зазоров стены. Я положил обрывок к остальным бумагам и заметил, что его правый нижний угол медленно загибается вверх. Бумага упрямо пыталась свернуться, словно текст не желал, чтобы его читали. «Сквозняк, — подумал я. — Обычная сырость и законы физики. Всё можно объяснить». Но внутренний голос твердил обратное.

V

Сорок третий лист. Между сорок первым и сорок третьим зияла пустота — сорок второй кто-то изъял. Зато на следующей странице обнаружилась чёрно-белая матовая фотография с пожелтевшими от времени полями. С прицела камеры смотрел молодой человек лет двадцати пяти. Самые заурядные черты лица, короткие темные волосы по моде семидесятых, простая светлая рубашка с расстегнутым воротом. Обыкновенная шея без каких-либо шрамов или примет. Я смотрел на снимок и не мог оторваться. Вовсе не оттого, что лицо казалось пугающим или красивым. Оно было знакомым. До боли знакомым. Я знал этого человека. Видел его не на архивных карточках, а вживую, в настоящем

времени. Каждое утро. В старом зеркале прихожей, где ртутная амальгама давно отслоилась от стекла, искажая контуры глаз. На фотографии было моё лицо. Я взял снимок и подошел к окну, ловя скудный сентябрьский свет, пробивавшийся во двор-колодец. Сравнил фото с собственным мутным отражением в стекле. Форма носа, линия челюсти, глубокие глазницы — совпадение было абсолютным. Даже едва заметная асимметрия — левая бровь чуть выше правой — осталась моей. Те мелкие, едва уловимые черты, которые изучаешь годами, привыкаешь или ненавидишь, но по которым безошибочно узнаешь себя в толпе. Черты, делавшие это лицо моим. Или его.

VI

Снимок лег обратно на стол. Рядом с машинописью и рваной служебной запиской. Улики выстроились в одну невозможную прямую: Артемий Павлович Корнеев, родившийся в тысяча девятьсот восемьдесят screen-овом девятом, принятый на работу в семьдесят шестом и застывший в «неестественном состоянии» в третьей лаборатории, носил мою внешность. Нет. Это бред. Просто сильное сходство. В мире миллиарды людей, и у каждого, говорят, есть до семи двойников — генетических близнецов, раскиданных по планете и не подозревающих друг о друге. Один из них просто работал в этом НИИ. Но почему его личное дело спрятано именно здесь? На этой полке, в зазоре стены, из которого тянет могильным холодом? Почему именно я отыскал его в это дожд-

ливое третье сентября? Совпадение. Весь наш мир — цепь нелепых совпадений: от рождения до самой смерти. Случайный выбор профессии, случайный архив на Васильевском острове, случайный вдох гнилостного бумажного воздуха. Или нет? Я поднялся и принялся мерить шагами комнату. Пятнадцать шагов от стены до стены, двадцать — от окна до массивной двери. Двенадцать стеллажей, по шесть полок на каждом. Около двух тысяч папок, занесенных в бездушные описи. Две тысячи чужих жизней, от которых остались лишь истлевшие подписи и этот удушливый запах. И среди этого бумажного кладбища лежало одно дело. Без инвентарного номера, без названия. С моим лицом на сорок третьей странице. Я вернулся к столу и сел. Взгляд снова скользнул по неровным строчкам с завалом влево, обрывку записки и старой фотографии. Три фрагмента одной головоломки, которую я не хотел собирать, но уже не мог остановиться. Запах тлена вел меня дальше, вглубь лабиринта. И эта дорога вела назад.

VII

Лист шестьдесят первый. Снова машинопись, но выполненная гораздо небрежнее: с пропусками букв и размашистыми исправлениями от руки. Почерк — мелкий, угловатый, с резким наклоном влево. Протокол допроса. Допрашиваемый: Корнеев А. П. Допрашивающий: ст. оперуполномоченный КГБ при Совете Министров СССР (звание и фамилия зачеркнуты). Дата: 19.09.76. Время начала: 23:40. Вре-

мя окончания: не указано. Вопрос: Назовите ваше имя. Ответ: Артемий. Вопрос: Назовите вашу фамилию. Ответ: Корнеев. Вопрос: Назовите год вашего рождения. Ответ: Я не знаю. Вопрос: Поясните. Ответ: Я не знаю, когда родился. И не уверен, рождался ли вообще. Вопрос: Вы утверждаете, что не помните даты своего рождения? Ответ: Я утверждаю, что не знаю, существую ли в привычном понимании. (Пауза в протоколе — 4 минуты). Вопрос: Где вы находились до семнадцатого сентября сего года? Ответ: В архиве. Вопрос: В каком именно? Ответ: В этом. В архиве НИИ-217. Я не помню, сколько времени там провёл и что конкретно делал. Помню только запах. Старой бумаги. И чего-то еще — древнего, безымянного. И холод. Он шел не от погоды, а от самого времени. Вопрос: Вы настаиваете, что скрывались в помещении архива до момента вашего обнаружения? Ответ: Да. Вопрос: Как вы проникли в охраняемое помещение? Ответ: Я не проникал. Я просто там был. Был всегда. Я перестал читать. Не оттого, что не хотел, — мозг попросту отказался воспринимать написанное. Глаза послушно скользили по строчкам, но сознание выстраивало глухую стену перед текстом, созданным полвека назад. Перед словами человека, носившего моё лицо. «Я просто там был. Был всегда». Дождь за окном продолжал отбивать такт по жестяному отливу. Стук. Стук. Стук. Тот же монотонный ритм, но теперь он казался зловещим. Так звучит пульс не спящего человека, а того, кто лишь притворяется спящим. Кто лежит непо-

движно в темноте, затаив дыхание, и чутко ждет, когда ты подойдешь ближе. Я перевернул протокол текстом вниз. Машинопись скрылась, обнажив чистый оборот страницы, если не считать цепочки ржавых пятен от скрепок. Они выстроились в ряд, напоминая созвездие, которому никто на земле не дал имени. Мне требовалась передышка. Я поднялся со стула и подошел к окну. Четырьмя этажами ниже растянулся мокрый асфальт двора-колодца. На карнизе противоположного флигеля сидела серая чайка. Она застыла, словно каменная горгулья, и смотрела прямо на меня. Чайки не мигают — у них нет привычных нам век, их взгляд всегда обнажен и направлен в упор. Я отвернулся, но ощущение не исчезло. Птица продолжала буравить глазами оконное стекло, архивные стеллажи и мою спину. Я чувствовал этот тяжелый, нечеловеческий взгляд затылком. Вернувшись к столу, я снова перевернул лист. Буквы стояли на прежних местах. Фразы не изменились и не растаяли. Они замерли здесь точно так же, как в ту ночь, когда кто-то с моей внешностью произносил их под мертвенным светом голой лампы перед безликим следователем. Для чего велась эта запись? Для отчётности? Для полки? Или для того, чтобы в этот самый день её прочитал я?

VIII

Я потерял счет времени. На стене мерно тикали старые советские часы «Янтарь» ярославского завода. Их красная секундная стрелка совершала круг за кругом. В этом сухом,

отчетливым «тик-так» спрессовывалось всё: прошлое, настоящее и будущее сжимались в один бесконечный такт. Лист семьдесят второй встретил меня рукописным текстом. Тот же мелкий, угловатый почерк с наклоном влево. Это был не официальный документ и не рапорт, а скорее обрывок дневника или предсмертной записки: «Я не знаю, что я такое. Помню только, что когда-то считал себя человеком — до того, как попал в архив. До этого запаха. До того, как бумага заговорила со мной. Она действительно говорит. Я не сумасшедший: я ходил к врачам, выслушивал диагнозы про тревожные расстройства и вегетососудистую дистонию. Но это лишь ярлыки. Бумага общается не голосом и не словами — она говорит ароматом тлена. Каждое дело пахнет своей историей, и я научился их читать. Не глазами — кожей, легкими. Вдыхаю — и знаю всё о том, кто держал этот лист. В этом институте все были отравлены страхом. Люди списывали инвентарь и дрожали. Писали характеристики и боялись. Но они страшились не выговоров или проверок. Их пугало само здание. Стены. И то, что притаилось на третьем этаже, в зазоре между стенами — нечто древнее, не имеющее названия, потому что язык создан людьми, а это существовало задолго до них. Я знаю это, потому что сам вышел оттуда. Из этой ледяной пустоты. Меня нашли, дали имя, выправили документы, определили на работу и наградили человеческим страхом. Но я помню свою суть. Помню даже тогда, когда забываю всё остальное». Я закрыл тяжелую папку.

Пальцы больше не дрожали — тремор исчез где-то в районе шестидесятой страницы. Вместо него пришел холод. Настоящий, глубинный холод, не имеющий отношения к комнатной температуре. Тот самый, о котором писал Корнеев. Холод из глухого межстенного зазора. За окном окончательно стемнело. Я наконец взглянул на часы: двадцать один час сорок минут. Я просидел над делом с самого утра — девять часов пролетели как три. Время в этих стенах окончательно потеряло ход. Оно либо остановилось, либо упрямо пятилось назад. Вспять. В самую глубь лабиринта.

IX

Мне следовало бежать. Встать, погасить свет, запереть архив на ключ — связка послушно звенела в кармане: один от кабинета, другой от массивной парадной двери. Спуститься по лестнице, раствориться в темноте питерских улиц, дожждаться редкого автобуса и уехать домой. А там — чай, телевизор, спасительный диван. Привычные ритуалы нормального человека, который числится архивистом третьей категории, монотонно перебирает чужие акты и никогда не находил таинственного дела. Не видел снимка, не читал протоколов и бредовых дневников. Не находил — потому что не искал. Потому что ничего не было. Весь этот абсурд — лишь плод усталости. Обычное совпадение. Но я остался. Папка снова лежала открытой. Сто тридцать первый лист оказался последним, на котором сохранились чернила. Дальше тянулись лишь пустые страницы — десяток или полтора. Чи-

стые, пожелтевшие от времени листья с редкими крапинками въевшейся зеленоватой плесени. Ни единого слова. Будто текст внезапно оборвался, а бумага продолжилась. Словно фразы покинули эти страницы и ушли в межстенный зазор, растворившись в холоде и запахе тлена. В той самой пустоте, откуда явился человек с моим лицом, чтобы заявить: «Я не знаю, родился ли я». Последние строки гласили: «Сегодня я наконец всё понял. Я никогда не рождался. До архива меня попросту не существовало. Это не значит, что не было физической оболочки — тело было, но оставалось пустым. Словно то самое оцинкованное ведро, которое списали за ненадобностью, но забыли выбросить на помойку. Оно неподвижно стояло в ледяном зазоре между стенами, пока кто-то или что-то не заполнило его до краев. Заполнило субстанцией, пахнувшей бумагой, сыростью и чужим страхом. Нечто, научившееся имитировать человека: ходить, говорить, подписывать накладные и составлять бесконечные описи. Это нечто теперь именует себя моим именем. Но моё "я" — не моё. Оно одолжено, взято взаймы на время. И тот, кому оно принадлежало изначально, вовсе не умер. Он не покинул здание. Он ждет там, за стеллажами, в вечной морозной пустоте. Он ждет, когда я верну долг». Я застыл, положив ладони на стол. Бумага под пальцами снова стала горячей. Это неестественное тепло проникало сквозь кожу в мышцы, заполняло кости и просачивалось глубже — туда, где еще теплилось сознание. Туда, где стоял неподвижный

холод, похожий на застоявшуюся воду в колодце. И я осознал — не разумом, а кожей и легкими: тепло шло вовсе не от ветхих страниц. Оно транслировалось прямиком из зазора за двенадцатым стеллажом. Тепло зарождалось там, где царила вечная мерзлота. Там, где он ждал. Меня звали обратно.

Х

Я дочитал. Захлопнул обложку и попытался связать истлевшие тесемки, но они окончательно рассыпались в пыль. Тёмно-зелёный картон, выцветший до оттенка болотного мха, остался лежать на столе. Ни инвентарного номера, ни года, ни заголовка. Просто безликая папка. Просто буквы на листах. Вокруг сгустилась знакомая тишина пустых коридоров — томительное присутствие невидимых звуков. Скрип половицы, еле слышный шорох, чужое размеренное дыхание за глухой стеной. Я поднялся и медленно подошел к двенадцатому стеллажу, выискивая место, откуда рухнула папка. Самая верхняя полка под самым потолком, куда я никогда прежде не заглядывал. Она оказалась абсолютно пустой. На фанере лежал толстый, идеально ровный слой серой пыли, копившийся здесь десятилетиями. Если бы папка действительно находилась тут всё это время, на поверхности остался бы четкий прямоугольный след от обложки. Но отпечатка не было. Пыль лежала нетронутым бархатным ковром. Дело № 4471-А никогда не хранилось на этой полке. Оно материализовалось из ниоткуда — выпало прямиком из ледяной пустоты межстенного пространства. Я долго стоял у стелла-

жа, тупо уставившись на серый налет. Минуту, десять, час — время в ночном архиве окончательно потеряло привычные ориентиры. И пока я смотрел, внутри крепло первобытное, не поддающееся логике чувство. Я отчетливо понимал, что за моей спиной кто-то стоит. Этот кто-то находился не в комнате — он затаился с обратной стороны стены, в узкой щели, откуда тянуло могильным сквозняком. Нечто невидимое пристально наблюдало за мной. Не глазами — так смотрит сам холод, так смотрит уходящее время. Затем раздался звук. Не банальный скрип или шорох одежды, а низкий, утробный гул на самой грани человеческого слуха. Так вибрируют перегруженные трансформаторные будки или гудят трубы глубоко под землей. Этот гул отдавался в груди и костях, транслируя единственную мысль: «Я здесь. Я рядом. Я внутри тебя». Я слушал этот монотонный подземный гул, который не становился громче, но заполнял собой всё пространство. Осязаемое присутствие того, чего быть не должно. «Я просто там был. Был всегда», — вертелись в голове строчки из протокола допроса Корнеева. Впечатанные в бумагу, пахнущую тленом и древностью.

XI

Я не обернулся. Не потому, что не хотел, — мое тело перестало мне повиноваться. Мышцы сковало судорогой, ноги словно вросли в старый паркет, заставляя меня неподвижно смотреть на пыльную пустую полку. Руки и ноги, послушно носившие меня по городским улицам сквозь дождь и грязь,

больше не принадлежали мне. Команды отдавал кто-то другой. Моя личность оказалась лишь временной декорацией. Чужой, одолженной маской. Тот, кто затаился в стене, не шевелился. Он не дышал воздухом — ему не нужны были легкие. Ему требовалось кое-что поважнее. Ему нужно было вернуть свое «я». Мое «я». На стене продолжали висеть круглые часы «Янтарь». Но их сухой ритм внезапно оборвался. Красная секундная стрелка намертво застыла между двенадцатью и единицей, черные стрелки замерли в неестественном положении. Механическое сердце института остановилось. Наступила абсолютная, звенящая тишина. Из углового зазора хлынули новые звуки: едва различимый шепот, не складывающийся в слова, шелест невидимых страниц и плотный, удушливый аромат старой бумаги. И тогда кожей, легкими и всем своим онемевшим существом я осознал: этот текст не был чьей-то мистификацией. Корнеев не лгал. Человек с фотографии — это действительно я. Я сам когда-то шагнул в этот мир из ледяной пустоты между кирпичными стенами. Меня нашли, заполнили чужими воспоминаниями и оставили функционировать в этом здании, словно списанный инвентарь. Мое тело, мои мысли, мои шаги — всё это принадлежало архиву. Кроме одного. Запах. Единственное, что оставалось по-настоящему моим, — это въевшийся в легкие аромат старых фондов. То, что я утащил с собой из первородной тьмы. Вот с чего всё начинается — не с мысли, не с важного решения, не с утреннего звонка будильника. С

запаха бумаги, которая намного старше тебя. С запаха тлена, времени и чего-то древнего, чему человек так и не сумел дать имя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.